

СОДЕРЖАНИЕ

Хрустальный дом

Повесть в шести шагах..... 7

Сухое плавание

Рассказы

Нервы 135

Копыто 156

Дед 167

Гусеница 176

Помощница фокусника 182

Сухое плавание 193

Соловей 204

Растерянные 210

Ловить солнце 219

Мертвая лиса 232

Звонки со станции 246

Черная, красная, рыжая 255

Туман 275

Хрустальный дом

Повесть в шести шагах

ШАГ ПЕРВЫЙ.

Вода

В день отъезда Елена Дмитриевна открыла глаза и увидела рисунок — соединенный по точкам карандашный парусник, страничку из развивающей детской книжки. Странно, но она не заметила его раньше. Больше рисунков в доме не было. Только вырезанные из календаря и наклеенные на холодильник амурский тигр и апельсиновая лисица.

Сон отлетел, и память Елены Дмитриевны вытолкнула на поверхность другой парусник, снятый на полароид. Пузырьком воздуха из воды выпрыгнула прошлая жизнь.

Америка. Они с первым мужем жили в университетском городке у океана: учебные корпуса красного кирпича, книжные, в которых с легкостью проводишь полдня, изумрудные газоны, вездесущий аромат кофе.

Муж постоянно учился: магистерская политология за год. Она, взяв открепление, дописывала в Америке свой диплом «Изучение фонетики малых народов северного славянского ареала: проблематика и подходы».

У них часто ужинали сокурсники мужа и еще какие-то университетские люди — американцы, англичане, подтянутый индус Пешавари с благородной сединой, индонезийка Сандра с красивыми узкими глазами. Муж радовался и много с ними общался: он надеялся получить в университете место и ему нужны были контакты. Гости приносили вино и хвалили обильную домашнюю еду, которую готовила Елена, говорили, что помнили такую по детству.

Мысли Елены Дмитриевны прервал петух. Ключья утреннего тумана на дворе превратились в тонкую взвесь. Петух слонялся вдоль забора и орал.

На завалинке, подставив лицо солнцу, сидела баба Нюра. Слезящиеся глаза окружали сухие морщины.

Если в деревне не было гостиницы — а ее почти никогда не было, — администрация отправляла приезжих филологов к частникам. Елена Дмитриевна всегда просила подселить ее к информанту. Так она оказалась у бабы Нюры.

Бабе Нюре восемьдесят семь. Как многие деревенские старухи, она рубила дрова, полола и копала. Ее дочка Ольга жила в Вологде, но, как говорили про нее в Теряеве, «мотылялась» — срывалась непонятно куда то за работой, то за ухажерами — и у матери не была уже семь лет. Иногда, правда, присылала деньги. Все это Нюра рассказала в один из вечеров, после стопки самогона.

Через улицу от завалинки сверкал остатками позолоты купол домового церкви усадьбы Копыловых. Венчал его темный крест.

— На кресте день ото дня разные сидят, — сказала баба Нюра с интонацией, которая превращала речь местных в хоровод вокруг буквы «о».

— Кто разные? — Елена Дмитриевна пожалела, что диктофон остался в сумке.

— Ну-ко те глянь-ко, вишь, стоит?

— Кто стоит?

— Ленин. Вон. Копье держит.

С креста камнем сорвалась ворона, и он остался голым.

День Елене Дмитриевне предстоял хлопотный. Последний день экспедиции, но еще оставались два интервью: с бабушкой Феонидой и стариком Давыдовым, некогда колхозным конюхом.

У Феониды поселили Сашу Аксакова, который все время строчил сообщения жене, оставшейся с годовалыми двойняшками. У него это была первая экспедиция. «Это же шестнадцатый век! — возбужденно делился он с Еленой Дмитриевной. — Ручной труд. Прялки-огороды. Даром что телевизор в каждом доме. А так... Сознание средневековое. А мы ведь не к староверам в землянки приехали. И от большой земли они не отрезаны». Но свое неофитское удивление Елена Дмитриевна пережила давно.

Вообще, ехать должны были втроем: Елена Дмитриевна, Саша и Леня Восьмеркин. Елене Дмитриевне нравилось работать с Восьмеркиным: он был надежным, не суетился и ухмылялся, как Харрисон Форд. Но в экспедициях часто случалось непредвиденное. Елена Дмитриевна шутила, что «кризис входит в стоимость покупки»,

а Восьмеркин — что это закон физики. На этот раз Восьмеркина накануне отъезда свалил вирус.

И вот конец: сегодня за ними приедет выделенный деревенской администрацией автобус и повезет к парому на реке Сладкой, что в восьми километрах от Теряева, а потом до трассы, где, высадив их на остановке, растворится в тумане, отправившись в село Гришаево. А они доберутся до станции — ждать поезда, который ближе к полуночи остановится на полминуты.

Слова Феониды, монотонные и горячечные, выпрыгивали и укатывались, как мячики из пластиковой трубки. Феонида костерила деревенскую администрацию, колдобины деревенской грунтовки, сырые дрова и пенсию, на которую не купишь конфет. Дело понятное: жизнь в Теряеве была простой и безжалостной. Но Елене Дмитриевне было неважно, что и как им рассказывают. Они, филологи-диалектологи, охотились за языком. И первой задачей было верно представиться — чтобы не путали с журналистами. Журналистов сразу начинали просить о помощи. Елена Дмитриевна привычно хитрила: говорила, что они приехали записывать местные сказки.

Слушая Феониду, Елена Дмитриевна ощутила первые признаки мигрени, всегда подступавшей с затылка. Если выпить сладкого чаю и лечь, ее еще можно остановить. Помаявшись, Елена Дмитриевна велела Аксакову самостоятельно заканчивать с Феонидой и самому поговорить с Давыдовым. На обратном пути Елена Дмитриевна купила в продмаге сыра, и по дороге — как перо из подушки — из памяти вылезло имя. Кевин.

Очутившись в избе, Елена Дмитриевна заварила чай и с кружкой переместилась на кушетку. Куда и когда они поедут в следующий раз — непонятно. Бюджет на будущий год так и не утвердили. По коридорам их института снова поползли разговоры об урезании средств. «Кому сейчас вообще нужна культура?» В сущности, их вечные жалобы на загон науки ничем не отличались от жалоб тереявских старушек на размеры пенсий. Интонация та же.

Елена Дмитриевна прикрыла глаза.

Снова Америка. Муж не находил общего языка с научным руководителем — голландцем, написавшим бестселлер про психологию обывателя в фашистской Германии. Муж дергался, глядел в пустоту и отвечал невпопад.

В тот день Елена провела пять часов в университетской библиотеке и ей захотелось присесть у фонтана. Здесь все сидели на траве. Ей это было непривычно, но она тоже села, скрестив ноги по-турецки.

Через пару минут рядом опустился молодой человек в бейсболке и с короткой рыжей бородой. В левой руке он держал бутерброд, а правую подставил как поддон. В кампусе было много левшей.

От парня пахло прачечной. Поев, он достал блокнот. У Елены на коленях лежал такой же. Они покосились друг на друга, и рыжий сказал что-то вроде: «Наши блокноты — братья».

На здешний манер, встретившись взглядом с незнакомкой, полагалось улыбнуться. А он заговорил.

Кевин — так его звали — оказался местным. Первым ее знакомым из университетского городка. Городок, кстати, был обманчив: сразу за кампусом начинались унылые висты из малоэтажных корпусов с разными мастерскими, копировальными забегаловками и дышащими на ладан китайскими кафе. Пейзаж прирастал округлыми негритянками в тренировочных штанах и нервной молодежью в одежде из секондов.

Кевин рассказал, что работает в круглосуточном книжном, а вообще, он фотограф. Снимает на полароид. Вытряхнул из блокнота снимки: одинокая груша на белой плоскости стола, контуры деревьев в желтом закате, ластик на краю раковины. И парусник.

Елена похвалила парусник. Кевин порозовел и принялся говорить о ветре и океанической ряби, по-особому отражающей свет. Елена с трудом продиралась сквозь его акцент, помноженный на манеру топить окончания в бороде.

Ей было пора. Елена сунула блокнот в сумку и поднялась. Хотелось посмотреть, не испачкался ли сарафан, но постеснялась.

Он тоже поднялся:

— У вас пятно сзади.

Она засуетилась и попыталась отряхнуться.

— Не надо. Размажется. — Он тронул ее запястье. — А хотите парусник посмотреть? Он приходит в залив по четвергам. У меня уже, наверное, фотографий сто в разном освещении.

Кевин ездил на белом пикапе, который тоже пах химчисткой. Дорога искрилась, по радио пел

Билли Джоэл, и песня окрасилась ощущением полета.

Рассказы Кевина Елена уже научилась слушать как радио, не вникая. Ее больше интересовали гигантский рекламный глазурованный розовый пончик, хот-дог размером с дом и грубая вязь вывесок по обочинам.

Над океаном летали чайки.

— Мусорщицы, — сказал Кевин, — мы их называем морские крысы.

Они стояли на камнях и смотрели на воду. Долевтавшие до ее колен брызги окрашивали первые в ее жизни белые джинсы мелкими кляксами.

На воде дергался рыбацкий катер.

— Странно, по четвергам парусник всегда здесь.

— Ничего страшного. Never mind, — ответила Елена.

Они начали пробираться по камням к трассе, он подал ей руку и держал, пока они не выбрались к машине. Ее ладонь вспотела.

— Может, кофе? — предложил он.

Но она боялась, что муж вернется раньше и придется объяснять.

Хлопнула входная дверь, Елена Дмитриевна вздрогнула. Раздалось шарканье сапог. Баба Нюра показалаcь возле ситцевой занавески, отделявшей комнату Елены Дмитриевны:

— Пойдем.

— Куда?

Нюра держала в руках скомканный газетный сверток.

— Росалушку поглядишь. Напоследок.

Русалки ей не хватало. Мигрень только отпустила. Но быть неприветливой, тем более в последний день, Елене Дмитриевне не хотелось.

Позади усадьбы начинался запущенный парк. От дома тянулась липовая аллея — темная и торжественная.

Как рассказала Елене Дмитриевне продавщица из продмага, Копыловы наказывали крестьян, заставляя их сажать липы. Усадьба рассыпалась, липы разрастались.

— Веники мохнатые, солнце застыт, — походя обругала деревья Ньюра.

Некогда посреди парка высились кружевные, затейливые оранжереи для орхидей, с подогревом и фигурной крышей, похожие на шкатулки — на английский манер. От них остался ржавый каркас в мусорном перелеске. За перелеском шел длинный, напоминающий скорлупу от арахиса овраг. В узком месте для входа в лес были перекинuty бревна.

Ньюра легко переступала бородавчатые кочки узкой тропинки.

Минут через десять вышли к лесному пруду, густо заросшему по берегам осокой. Елене Дмитриевне вспомнился Уолденский пруд — место уединения философа Торо — бесстрастный и гладкий, в окружении ровного кольца деревьев. Первое их с мужем путешествие после приезда в Америку. Потом однокурсница мужа Сандра скажет, что все годы Торо на пруду его мать и сестра приносили ему еду и чистую одежду.

Поверхность теряевского пруда шевелили водомерки.

Нюра развернула газетный сверток. В нем оказался сыр, купленный Еленой Дмитриевной. Нюра швырнула сыр в воду и уселась на бревно:

— Гостинец. Подождать надо.

— Баб Нюр, а на собрание не опоздаешь? — спросила Елена Дмитриевна. Собрание было важным. У усадьбы Копыловых появился хозяин.

Она, вероятно, так и рассыпалась бы лет через двадцать, если бы не глава деревенской администрации Артемьев, который выжимал копейчку из вверенных ему территорий. Но то, что Теряево находилось за рекой, сильно портило карты. Новый асфальтовый завод построили в Гришаеве, а большой коммерческий зверопитомник — возле железнодорожной станции.

Активность Артемьева сосредоточилась на усадьбе. В итоге нашелся коннозаводчик Армен Джангарян. Он планировал переделать усадьбу в пансионат с конными развлечениями.

Сегодня Джангарян собирался показывать эскизы переделок. И отдельным вопросом значилась судьба бабы Нюры: ее участок, как выяснилось, находился на территории усадьбы. Джангарян трижды предлагал Нюре новый сруб в любой части деревни. Без ее подписи на документах строительство было не начать. Но она стояла насмерть. Местные сердились, им посулили рабочие места, но обижать Нюру не хотели: тридцать лет она работала акушеркой в здешнем, теперь переведенном в Гришаево роддоме. Почти все теряевцы родились ей в руки.

В первый вечер к Нюре вместе с Еленой Дмитриевой отправился и Артемьев.

— Баба Нюр, ты уж не подводи нас. Мы край дотационный, нам рабочие места нужны.

Баба Нюра рылась в сундуке с бельем.

Артемьев попытался еще раз:

— Я тебе лично переезд устрою, будешь в тепле и комфорте. А если газ выбьем, так и вообще...

Баба Нюра вложила в руки Елены Дмитриевны стопку постельного белья и отправилась на огород. Артемьев выругался и посмотрел на потолок, словно ждал от того совета.

— Может, у вас получится? — вдруг спросил он Елену Дмитриевну. — Вас же учат с людьми разговаривать? Я за Джангаряном год бегал, на свои кормил, на рыбалку возил. Соскочит — зиму не продержимся, на дрова не останется.

— Мне кажется, Нюра никого не слушает.

Он почесал за ухом:

— У нас таджики в низком старте. Лес почи-
стим, парк облагородим. Может, даже орхидеи
снова...

— Мы в местные дела не вмешиваемся, этика...
профессиональная.

Артемьев поднялся:

— Этика-уэтика.

Нюра продолжала созерцать пруд:

— Карпами, ироды, набьют. А ей там и одной
тесно.

— Так вы что, из-за русалки стройки боитесь?
Боитесь, конезаводчик пруд потревожит? — дошло
до Елены Дмитриевны.

— Ну, — ответила Нюра.

— А Артемьев знает?

— Много чести, — ответила Нюра.

Нюра скинула опорки и сейчас стаскивала с плеча байковый халат, под которым оказалось ситцевое платье.

— Баб Нюр, вы чего?

Нюра стянула платье и понесла свое белое, на удивление крепкое тело к пруду. Не дрогнув, рассекла прибрежные заросли, прочавкала по глине и погрузилась в воду, спугнув водомерок.

— Зовет меня, — сказала Нюра из пруда, — скучно ей. Чай не карп.

«Не карп», — эхом подумала Елена Дмитриевна, глядя, как Нюра бойко плывет по кругу.

Когда они возвращались, Кевин вдруг пустился философствовать. Он рассуждал, что его страна может быть доброй и удобной, если у тебя есть хорошая работа.

В обратном порядке перед Еленой замелькали дорожные развязки, большой хот-дог, розовый пончик. А она подумала, что об этой поездке не знает ни одна душа. И если бы вдруг ее не стало, этого тоже никто бы не узнал. Может, ее и не было? Может, она, не заметив, просто растворилась в этом бескрайнем, помеченном пончиками и хот-догами пространстве воды и света?

Перед тем как посадить Елену у дома, Кевин полез в сумку, долго рылся и наконец достал блокнот:

— Вот. Это вам — самый удачный.

Протянул снимок с парусником. У нее вдруг мелькнула мысль о поцелуе, но быстро угасла.

Пикап, крупный, как белый медведь, мелькнул и пропал среди стриженных кустов. Парусник на полароиде был мал и безмятежен. На фоне сплошных темно-зеленых вод он слегка расплывался и будто мерцал. На обороте в правом нижнем углу стояла подпись: «For Helen #22-1997-kevin».

Домой идти расхотелось.

Кевина она больше не видела.

Вечером муж сообщил, что ему дают должность младшего профессора на кафедре общей политологии. Контракт на три года.

— Ты рада? — спросил он.

Она не знала, что сказать.

— Думал, будешь рада.

Через два месяца муж защитился. На вечеринке он весело чокался с научным руководителем, долго тряс тому руку. Еще через две недели она одна вернулась в Москву и, защитив диплом, стала готовиться к экзаменам в аспирантуру. Вскоре начались экспедиции и шли чередой, перемежаясь с библиотечными днями, заседаниями кафедры, институтским буфетом и запахом сигарет, пропитавшим их здание от входа.

Напоследок Нюра, почти касаясь щекой воды, что-то пошептала в глубину и начала выходить.

Елена Дмитриевна подумала, что скоро от тереяевского диалекта ничего не останется. Как-то, лежа с Восьмеркиным под кусачим мохеровым пледом на скрипучем раскладном диване, они об этом заговорили. Он тогда сказал, что они гоняются за призраками.

Несколько раз они возвращались в одни и те же места спустя три года или пять лет. А слов уже действительно не было. Старики умирали, и место делалось безголосым. Кто останется в Теревае через семь, скажем, лет? Джангарян? Артемьев?

Нюра вдруг пошатнулась и с тяжким всплеском — словно в замедленной съемке — завалилась на спину.

Елена Дмитриевна вбежала в воду. Ноги обдало холодом, мокрая юбка облепила колени. Елена Дмитриевна выхватила Нюру и потянула что есть мочи. Но пятки поехали по скользкому илу, правая ступня выскочила из подвернувшейся туфли. Она потеряла равновесие и, отпустив старуху, оглохла и ослепла от горькой воды.

Она замотала головой, как мокрая собака, поднялась, снова потянулась — руки ушли в пустоту. Сердце колотилось. Моргать было больно. Елена Дмитриевна шарилась по воде, как слепой, прокладывая себе палочкой путь в толпе. Она снова поскользнулась, но на этот раз, присев, кое-как удержалась.

Нюры не было.

С пустой головой и отяжелевшими ногами Елена Дмитриевна опустилась на бревно: на краю лежала Нюрина одежда, рядом стояли черные резиновые опорки, по которым ползали муравьи. Пруд успокоился, как будто заснул. А ведь легко могла бы следом потонуть.

Автобус должен был прийти меньше чем через час.

Деревня стихала рано, в домах работали телевизоры, бросая голубые отсветы на окна. Вечерние облака походили на пасущихся в блюде киселя овец.

Войдя в избу, Елена Дмитриевна вымыла посуду — две тарелки, чайную ложку, вилку, чашку и стакан. Аккуратно разложила на мягком вафельном полотенце. Затем глотнула из бутылки самогона. Нюра хранила его в дверце холодильника. Ощущая ожог, наконец стянула мокрую одежду. На плечах висела кляклая коричневая осока. Одежду хотелось выбросить, но не нашлось куда, и она просто затолкала ее в пакет.

Елена Дмитриевна только-только успела натянуть сухое, как, волоча за собой прыгающий на слабых колесах чемодан, в дом вошел Аксаков:

— Елена Дмитриевна? Через пятнадцать минут автобус, а вы на смски не отвечаете. Восьмеркин завтра встретит, оклемался. Вы собираетесь?

Она кивнула.

Аксаков, не спрашивая, сел у холодильника и погрузился в переписку.

За годы разъездов Елена Дмитриевна придумала идеальную командировочную формулу, список вещей на все времена — дождевик, жилет-пуховик, невесомый зонт, компактный фен. Сборы занимали минуты. Она уже поняла, что никому ничего не скажет и не побежит к Артемьеву. Вместо этого она подбирала вещи с ощущением, что замечает следы. Куда-то запропастился фен.

Она закружила по комнате, как механическая балерина. Сдернула с кушетки покрывало, сняла постельное белье. Стала перестилать одеяло.

Ей захотелось обнять Восьмеркина — накуриться, почувствовать, как грубый мохер пледа кусает икру, напоминая, что у нее есть тело. Надо было что-то успеть, неясно что, но ведь надо.

К калитке подъехал автобус, дважды коротко гуднул. Забытые деревни, слова, которые никто не понимает.

Движением воздуха со стены сорвало рисунок с парусником. Покружив, он приземлился на полковик.

На обороте коричневым карандашом, расплывающимся детским почерком было выведено: «Мамуле от Русалочки». Но Елена Дмитриевна не заметила надписи. Надо было спешить.

ШАГ ВТОРОЙ.

Кясму

Январь. Только по снегоступам можно догадаться о зиме. Робкий снег прошел четыре дня назад. С тех пор солнце. Тротуарная плитка на площади кампуса сухая. В новой кофейне, помимо Кевина, еще человек пять — ровно столько, чтобы в заведении ощущалось оживление.

Поджарая филиппинка лет пятидесяти с нитяными браслетами на обеих руках делит с дочкой завтрак: гора овощей и хлеба на деревянной доске. У обеих блестящие черные волосы. Завтраки здесь подают весь день.

На Кевине льняная рубашка цвета какао, самая дорогая, подаренная Барбарой на Рождество. В ней он почти сливается с обивкой дивана. Кевин не ходит в сетевые заведения. Поддерживать монополистов не в его правилах. В этом кафе он второй раз. Оно называется Lowkal. Говорят, его хозяин — бывший голливудский актер.

Вчера Кевин отпраздновал день рождения в баре у дома в компании Джеффа. Наутро в голове шумело так, как будто там пылесосили.

Кевин с завистью поглядывает на таск. Те не спеша мажут пористый хлеб хумусом. Наверняка

это бездрожжевой хлеб прямо из печи. Но Кевин не ест хлеб. Барбара отучила. Он заказал какао — стопроцентный кенийский с соевым молоком. Полезно и питательно. Семь долларов за стандартную порцию.

Официант ставит перед ним керамическую кружку. К ней прилагается печенье размером с ноготь.

— Как жизнь? — интересуется Кевин.

Парень кивает. Он рыж и высок.

— Ты откуда? — спрашивает Кевин.

Горячий какао и простой, понятный обмен репликами — это то, что вернет миру устойчивость, хотя бы ненадолго. Тем более ему кажется, что официант родом из его мест — бостонский или с окраины Гарварда.

— Таллин. Меню оставить?

Кевин не знает, что такое Таллин. Вероятно, Средний Запад.

— Таллин?

— Эстония.

Кевин пытается припомнить штат, в котором водится Эстония.

— А что еще есть в Эстонии?

— Кязму, лучшее место на земле, — говорит официант и идет к тайкам, похоже дозревшим до десерта после своей горы хлеба, овощей и хумуса.

Действительно, Кевин слышит, как дочка заказала шоколадный маффин (домашнее сливочное масло, рисовая мука, тростниковый сахар), а мать — бескофеиновый капучино.

Кевин думает: Кясму. Звучит по-японски. Но не японское. Но за границей, конечно, за границей. Расспрашивать официанта пока больше не хочется. Можно, например, съесть маленькое печенье.

Кевин не был за границей. А вот Барбара много ездила. Теперь она работала в фонде, который сводил европейских деятелей культуры с американскими партнерами. Ей нравилось путешествовать.

У них был лабрадор Никки. Кевин обратил внимание, что волосы на животе Никки в последнее время стали желтыми, как моча. Барбара ездила, а Кевин и Никки сидели дома.

Когда-то Кевин был подающим надежды, а потом почти совсем модным фотографом. Пиком его карьеры стала выставка «Сто один парусник» из ста одного полароида.

Он ждал, что будет быстро расти, и в первое время все действительно двигалось: одна банковская сеть с Юга заказала ему семь парусников три на три — для украшения холла в новом бостонском офисе. Затем Кевин сменил технику, увлекся мокрой коллоидной печатью, получил грант для издания каталога. И встретил Барбару.

Она пришла на открытие групповой выставки, где он выставлял портреты друзей в маскарадных костюмах. Возможно, он бы не обратил на нее внимания, если бы не наступил ей на ногу. Тогда, тринадцать лет назад, Барбара стилизовала себя под лайт-версию эмо в диковатом сочетании с хиппи.

У Барбары была аллергия почти на все. Поэтому первое, что случилось в их доме, когда они

стали жить вместе, — прощание с химикатами. Отныне жидкости и порошки вокруг них были экологически чистыми. И шампуни, и стиральный порошок, и дезодоранты. Фотографические химикаты Кевину пришлось перетащить сначала в гараж, затем в мастерскую, которую нашла для него Барбара.

Она была очень осознанной. На все у нее была «соответствующая процедура». Барбара верила в незыблемость личного пространства, в таинства женской психики, в астрологию и в прогресс. Она пекла лепешки без муки, презирала глянец и, конечно, все массовое. На крайний случай массовое должно было уравниваться штучным: стандартная майка — ручными шароварами. Мозг ее работал напряженно и постоянно. Она жадно просеивала реальность, делала выводы, думала, снова просеивала, верила, отрицала, полемизировала с тем, во что верила вчера. «Любая медийность обманывает», — любила повторять она. Барбара ценила красоту речи.

— Зачем ты говоришь так сложно? — спрашивал ее Кевин.

Она смотрела снисходительно:

— Язык меняется, язык уже почти везде стал новым, не надо этого бояться.

Самым сложным в Кевине была камера, и он надеялся на нее. Ну и на Барбару, конечно. Она умела радоваться. Она могла позвать друзей в шесть вечера и устроить чудесный ужин с вином и лазаньей. Она могла вытащить Кевина в горы. Или найти фильм из программы женского кино

в подвальном кинотеатре, мимо которого он ходил годами и принимал за тухлый стрип-клуб. Ее работающая, как реостат, башка не мешала ей быть спонтанной. Это было удобно: оставалось просто следовать.

Сначала Барбара пиарила благотворительную историю для азиатских женщин, потом поработала в банке, навсегда возненавидев корпоративный фашизм. Отныне так и говорила: «Он (она) работает в системе корпоративного фашизма». Она все время двигалась. Меняла работы, приятелей, цели прогулок. Потом попала в фонд, занимающийся развитием современного танца. Работа ее мечты. После четырех лет на работе мечты ее перекупил теперешний фонд. В их жизни появился пол из венге, агрессивно плоский телевизор со слишком ярким изображением и лабрадор Никки. А Кевин продолжал дрейфовать.

Старшая сестра Барбары Нина — они были из старой бостонской семьи, где уважали европейские имена, — называла Кевина амортизатором. «Ты идеальный амортизатор для атомного реактора». Нина и Барбара знали русский (русские со стороны одной прабабки), польский (со стороны другой) и голландский. Их мама была наполовину голландкой по фамилии Рувенаар. Поэтому Барбара оставила за собой фамилию матери — Барбара Рувенаар, а не Паркер, по отцу.

Отец Кевина держал велосипедную мастерскую, пил — спасибо, что умеренно, мог бы и сильнее, — а по выходным водил Кевина в тир. В его семье мало знали про Европу.

Вернувшись из кафе, Кевин полез в гугл-карты и долго елозил мышью по Эстонии. Он нашел и рассмотрел Таллин, затем высмотрел Кязму.

Потом — как-то само собой получилось — открыл билетный сайт-агрегатор, выбрал и оплатил поездку в Таллин на десять дней. С чего-то же надо было начинать новую жизнь. Эстония для этой цели подходила не хуже, как, впрочем, и не лучше, чем любая другая страна. Вообще-то, они с Барбарой как раз собирались в Россию, затем в Стокгольм, Венецию и Лиссабон. Для этого ему пришлось даже получать российскую визу с помощью секретаря Барбариного фонда — сам бы он не справился. Это Барбара придумала тематическое путешествие: турне по городам у воды. В Бостоне вроде как тоже воды хватало. «Но не так, — утверждала она. — После Венеции и Лиссабона невозможно жить по-прежнему. Ты будешь всегда искать глазами воду». «Я и так ее ищу», — отвечал он. «Не спорь, — говорила она, — когда увидишь, поймешь».

Когда она командовала, он раздражался и восхищался одновременно. Вместить две противоположные эмоции было сложно, и, вероятно, от этого Кевин начал толстеть. На прошлый Новый год она подарила ему абонемент в спортзал — камерный, с деревянными полами и свежими соками, входящими в стоимость посещений. Барбара всегда была щедрой.

Таллин тоже оказался городом у воды. Маленьким и снежным. Удивительно, сколько телодвижений надо было проделать, чтобы сидеть сейчас на Ратушной площади в кофейне, почти такой же,

как дома, на Гарвард-сквер. Люди здесь, в Таллине, были красивыми и молчаливыми. Официанты даже не пытались завести разговор.

В самолете Кевин рассматривал облака. Это было замечательно. По-эстонски *riiv*, как подсказывал гугл-переводчик. На середине пути он понял, что не заказал гостиницу. Пришлось заняться этим прямо в аэропорту.

Кевин погулял по городу и съездил на обзорную экскурсию на маленьком автобусе. Фотографировал, пил кофе. Надо было придумать новый проект. В голове художника должны быть тысячи идей. Его голове и душе должно быть тесно от идей. И жизни не может хватить на их воплощение. Но у него идей не было. Город оказался почти игрушечным. Так прошло два дня. Темнело рано.

В путеводителе было написано, что Кясму — место отдыха творческой интеллигенции, жемчужина природы и культуры, одна из самых красивых эстонских прибрежных деревень, с романтическими ледниковыми валунами, что бы это ни значило.

Девушка с ресепшена отеля объяснила, где найти автобус на север. Сама она там не была. Она приехала в Таллин два года назад из Москвы. Когда-то, когда Кевин только мечтал стать «настоящим фотографом» и работал продавцом в круглосуточном книжном, он знал одну русскую. Они случайно познакомились в кампусе, даже ездили один раз на океан. Она была странной, та русская, все время говорила о муже — какой он умный у нее и замечательный. Кажется, муж учился по какой-то международной программе. В памяти